

Михаил Петрович Погодин

Русая коса



Михаил Петрович Погодин (1800–1875) — историк, литератор, издатель журналов «Московский вестник» (1827–1830), «Московский наблюдатель» (1835–1837; совместно с рядом литераторов), «Москвитянин» (1841–1856). Во второй половине 1820-х годов был близок к Пушкину.

М. П. Погодин
Русая коса

Происшествие из жизни одного молодого человека

— Что с тобою сделалось, товарищ? — спросил молодой Д., вошед в комнату приятеля своего Минского. — Давным-давно ты ни к кому из нас не являешься; йенские ученые ведомости лежат у тебя на столе неразрезанные, и даже... любезный твой «Нестор» [1] — вот он — покрыт новою пылью сверх собственной древней!

— Ты все шутишь, Александр! Мне не до шуток.

— О чем же грустишь ты, смею спросить? Все твои знакомые теряются в догадках. Мы ума приложить не можем... и мне поручено выведать твою тайну, во что бы то ни стало. Отчего в тебе такая перемена?

— О какой перемене говоришь ты? Если бы не сказал ты о ней теперь, мне и в голову не пришла бы мысль, что во мне есть какая-нибудь. Давно ли я виделся со всеми вами, говорил о литературных новостях, спорил...

— Поздравляю... Ты зерно с древним монахом заслушался какой-нибудь райской птички [2], хотя они и редко залетают к нам

ныне. Да не спугнул ли я ее?.. Знаешь ли, что со времени твоего затворничества вышел новый том «Истории» Карамзина, Жуковский перевел еще одну Байронову поэму... [3] Словом, ты целую неделю сидишь дома.

— И это может быть. Я погружен в созерцание: не мудрено, что времени для меня нет.

— Но и прежде ты погружался в созерцание; однако ж товарищи имели удовольствие принимать в нем участие... Перестань вертеться: притворство к тебе не пристало; впрочем, я уже поймал тебя: ты не принял участия в моих известиях; значит, что у тебя на душе таится что-то важное, необыкновенное... И если б я не боялся пресловутой твоей философии, твоих насмешек над моим каким-то легкомыслием, то представил бы тебе свою догадку, отвергаемую, однако ж, нашими товарищами. Ты улыбаешься... Добрый знак! Смелее, смелее, ну — выговори!

— Я... влю... нет... мне кажется теперь, что я могу... что можно влюбляться.

— Bravo! bravo! Так я и предполагал. Ну

что, философ, где твоя философия? Теперь станешь смеяться над нами, обыкновенными смертными, не могущими возвыситься до любви к идеалам мимо ничтожных прелестей брения [4]. И тебя пленило это ничтожное брение, эта бедная сущность. Ты упал с своего седьмого неба. Не правда ли, что лучше было ходить по земле: ты ушибся бы не так больно. Я радуюсь от чистого сердца; а то было ты совсем запугал нас своею стоическою твердостью: мы краснели, когда приходил ты к нам в комнату с своими учеными диссертациями, с своими филантропическими видами; мы стыдились мимолетных своих мечтаний. — Кому же мир конечный одолжен за возвращение любезных прав своих?

— Русой косе!

— Русой косе! Я горю любопытством... Расскажи мне свое похождение.

— Обещаешься ли молчать и не смеяться надо мною?

— Молчать я согласен, но не смеяться едва ли смогу. Только не мучь меня и говори поскорее.

— Слушай. Ты знаешь, что я несколько лет захожу в дом к графу О. и пользуюсь благосклонностию всего семейства; знаешь, что у графа две дочери, добрые и любезные, хотя и очень между собою несходные. Я намечу слегка их портреты. Старшая живет в душе своей, живет чувствованиями. Мира внешнего, кажется, не существует для нее, и между тем она привязана к нему узами неразрывными; но все впечатления от посторонних предметов так усваиваются ею, что теряют особливую свою значительность и превращаются в нечто общее и бесконечное. Чужие чувствования делаются ее собственными. Никогда, кажется, не жалеет, не заботится она о других, а все о себе, и между тем никто больше ее не забывает себя. Ты можешь представить себе, какая прелесть разливается от того в ее обхождении. Во всем умеет она находить сторону духовную, благородную, и действует на людей также самым духовным образом. Если она станет говорить с тобою, ты не будешь слышать слов ее, не будешь иметь никаких определенных мыслей; но душа твоя

будет изменяться по ее произволу: ты будешь чувствовать все, что угодно волшебнице. Словом, это музыка.

Другая, наоборот, живет, кажется, в мире внешнем; кажется, сама есть прелестное явление из внешнего мира, резвится, веселится, всем играет, надо всем смеется, везде находит сторону вещественную, хотя и облагораживает ее. Ничто не останавливает ее внимания надолго; своенравная, она летает от одного предмета к другому, беспрестанно противоречит себе и другим; не пленяет, но завоевывает и бросает свои завоевания; на нее нельзя не радоваться, но нельзя и не сердиться. Это какая-то легкая поэзия.

Я знаю их обеих, и очень хорошо. Поэзия выросла даже на глазах моих. Гостя часто у них на даче, я имел случай коротко с ними познакомиться. Ты знаешь: в обществе малочисленном живется как-то проще, откровеннее; беспрестанно встречаются такие случаи, каких годами не дождешься в городе, случаи, коими человек раскрывается. Одно слово, которое мимоходом уронили,

один взгляд, который туда-сюда бросили, обрисовывает характер яснее иной биографии. Притом мы беспрестанно бывали вместе: поутру, например, были заведены у нас общие прогулки; мы говорили свободно, без всяких светских притворных приличий, о литературе, чужой, своей, о славных писателях, о жизни, о предметах нравственных. Веселая непринужденность царствовала в наших разговорах; иногда рассыпаемы были цветы остроумия, насмешки, и все, заметь, было растворено сим драгоценным благолюбием, которое составляет существенное достоинство всякого просвещенного человека. Я привык к ним и любил их — благодарностию за все те удовольствия, которые они мне доставляли. Знаешь ли, что, живя у них по четыре месяца, никогда не имел я никакого неприятного противного ощущения! Я наслаждался жизнью. Чтение мое там состояло всегда в сочинениях славных моих друзей-гуманистов: Гердера [5], Шиллера, Франклина [6], Шлёцера, и таким образом повторял я свой курс *studiorum humaniorum* [7] и

теоретически, и практически. Из всего этого можешь ты представить себе, с каким запасом добра, с какими приятными воспоминаниями оставлял я их мирное обиталище, в котором умывался, кажется, какую-то доброю водою... как был я предан им! Впрочем, скажу тебе по совести, я любил их только как прекрасные идеи в прекрасных формах, как мы любим Марию Стюарт [8] Шиллерову, Юлию [9] Руссову, Магдалину [10] Корреджиеву, — и только. Они заметили во мне добрые наклонности, еще не знаю что-то, и обращались со мною как с домашним. Так точно провел я у них и последнее лето на даче. В город возвратились давно... Я бываю у них часто... На днях я прихожу к поэзии с «Чернецом», который только что вышел из печати. В передней комнате на ее половине говорят мне, что графиня недавно вышла из ванны и принять меня, вероятно, не может. Я своротился было назад, как вдруг раздался голос из кабинета: «Что вам угодно, Н. Н., здравствуйте!» — «Я принес к вам литературную новость, и очень приятную». — «Ах, подите, подите сюда поскорее, прочтемте

вместе... Нет, нет, погодите одну минуту... теперь готова... пожалуйста...»

Я вошел... но, Александр, прощай, пооди домой! Я не могу продолжать: у меня голова закружилась, волнуется сердце... Приди завтра, приди, когда ты хочешь... Неужели давно это случилось?.. Не может быть: ты меня обманываешь.

— Перестань ребячиться, и что это за прихоть жестокая! Ты довел меня до вершины горы, хотел показать вид и закрыл глаза... Лучше бы не начинал.

— Не могу, клянусь, не могу. Я вижу теперь эту русую косу, которая рассыпается густыми кудрями по плечам...

— Bravo, философ, да это уже и не по-нашему. Дай мне пощупать пульс твой... Но вот тебе стакан холодной воды; из другого, если хочешь, я тебя оболью, и ты прохладишься. Мне нужны только два слова... Кончи.

— Я вошел... Графиня стояла еще перед зеркалом в голубом ситцевом капоте с длинными рукавами, на шее кисейная косынка, сложенная спереди и небрежно

подправленная под воротничок. Подле горничная, только что застегнувшая последнюю пуговицу... Вытертые, но еще не высохнувшие волосы спускались со всех сторон длинными, густыми и реденькими кистями... Лицо то открывалось, то закрывалось крайними локонами; графиня своими белыми ручками закидывала их назад, поправляла, но они, досадные, беспрестанно опускались над глазами. Иногда сверкали сквозь них пронзительные голубые глаза... Половина головы озарялась солнечными лучами, которые прокрадывались сквозь малиновые занавески и наводили то свет, то тень на свежее лицо. Ах, Александр, она была очаровательна. Если я помешался, разумеется не надолго, то ты верно бы сошел с ума и навсегда... Я весь трепетал... Ты веришь, что каменная Галатя оживилась творческим духом художника — так поверь и тому, что живая Галатя окаменила нового Пигмалиона... и природа не уступила древнему искусству в могуществе [11]. Она остановила все мои жизненные силы, и я

сделался статуею изумления... Помню наконец, что слова графини привели меня в чувство. «Что с вами случилось, Н. Н., читайте, читайте, мне хочется поскорее познакомиться с новым нашим поэтом...» В это только время я почувствовал, что я что-то живое, что опять становлюсь собою, и начал читать, извиняясь, как сумелось. Мы прочли «Чернеца». Я возвратился домой и с тех пор не выхожу со двора. В первый раз говорю только... Но я чувствую, мне теперь лучше...

— Благодарю за откровенность, — сказал Д. — Толковать с тобою теперь, кажется, не время. Девятый день самый опасный в горячке. — Но не думал ли ты сам уже о чем-нибудь, сюда относящемся?

— Я не думал ни о чем. Я был погружен в настоящим и наслаждался безусловно.

— Теперь размысли о будущем и разбери условия. Мне мелькает надежда, — прибавил Д., улыбаясь, — что ты выздоровеешь скоро: коса эта развеивается так высоко, так высоко; ты столько привык чувствовать умом, что едва ли нуждаешься в моих рецептах. Я оставляю тебя в покое. На днях зайду опять,

до свидания.

Через неделю веселый Д. является снова к своему другу и находит его совершенно в другом положении. На столе лежит десяток кварталтов [12], одиннадцать томов «Истории» Карамзина, исследования Калайдовича, Строева [13], Шлёцера, корректуры, тетради. Минский рассматривал внимательно какую-то древнюю рукопись и не заметил вошедшего.

— С выздоровлением, с выздоровлением, — закричал Д., захохотав изо всей силы.

— А, это ты, Александр! Я было сам собирался к тебе, кончив свою работу. Как ты поживаешь? Каково идут дела?

— Какие, сердечные или головные?

— Разумеется, головные: разве я спрашивал тебя когда-нибудь о сердечных?

— Нет, по думал, что спросишь... Позволь прежде узнать от тебя, как развевается любезная наша русая коса?

— Сейчас получил оттуда записку с упреками и приглашениями обедать там завтра.

— И ты пойдешь?

— Разумеется.

— Смело, как прежде?

— Еще смелее, если ты хочешь. Мой пароксизм кончился. Разговор с тобою имел благодетельное действие на меня; на другой день после нашего свидания я дышал уже свободнее, на третий вспоминал уже о косе и не видал ее наяву, а на четвертый повесил ее в картинной галерее моего воображения подле портрета Армидина [14]. Теперь я люблюсь на нее издали и безопасно.

— Очень рад. Впрочем, ты вывел, вероятно, какое-нибудь следствие, хотя и по-своему, из чудного своего приключения и, надеюсь, для нас не невыгодное?

— Я заключил, — если ты хочешь слышать человека, только что простывающего и, следовательно, еще не в полном уме, — что рано или поздно мне должно будет, как говорится, пристроить свою идею к месту; что только безрассудный человек может говорить решительно о своей будущности до тех пор, пока с ним не перебивали все возможные случаи, т. е. пока он полувздохом

еще принадлежит земле. В жизни нашей, Александр, бывают какие-то привилегированные минуты, в которые маловажный, но чудный случай раскрывает нам нравственное бытие наше, указывает на способности, в нас таящиеся, и решит судьбу целой жизни нашей. Нельзя предполагать, чтоб от сего случая зависели такие великие последствия, но нельзя и не сознаться, что он играет важную роль в жизни нашей. Система тяготения созрела в душе Ньютона, но без этого славного яблока, бог знает, как бы она развилась. Ломоносов был уже поэтом и создателем языка русского прежде, нежели попались ему в руки «Арифметика» Магницкого и Псалтырь Симеона Полоцкого [15], но мы не знаем, как бы он вошел в храм бессмертия, если бы случайно не представились ему врата сии [17]. Я по теперешнему приключению убедился, повторяю, что мне не быть одиноким, что я должен буду дополнить себя другою половиною, что у меня есть суженая, и русую косу почитаю залогом будущего моего счастья.

Приятели разговаривали долго о подобных случаях, перебирая древнюю и новую историю, и наконец расстались.

Прошло несколько времени. Минский по-прежнему продолжал ревностно заниматься науками, с тою только разницею, что подчас голова его наполнялась и другими видениями. Часто, в сумерки, на заре, мысли его резвились с удовольствием около каких-то живых идеалов. Иногда представлял он себе ножки, которые приводят нашего Пушкина в такое смущение [18], иногда эфирный стан, около которого так ловко складывается рука, иногда, и всего чаще, русую косу, любимую игрушку своего воображения, иногда... Но доскажем поскорее, как сбылись его темные предчувствия.

По каким-то обстоятельствам пришлось ему прожить несколько времени в доме госпожи С. У сей госпожи С. воспитывалась дочь дальней ее родственницы, девушка в семнадцать лет, белокурая, высокая ростом, прекрасная лицом, прекрасная душою. В первое уже свидание из русой косы ее упала

искра на сердце Минского, и он ее почувствовал, хотя и не обратил на то особенного внимания. Мария (так называлась его суженая), была очень хороша, образованна, имела вкус тонкий, знала прекрасно все новые языки, любила Байрона, Шиллера, Карамзина, Жуковского, Пушкина; мудрено ли, что, живя под одною кровлею, они вскоре познакомились и в некотором смысле подружились. Мария приметно сделалась равнодушною к Минскому. Вечера проходили у них в чтении. При всякой высокой мысли, при всяком счастливом выражении глаза его встречались с глазами Марии. Он увидел, что душа ее способна была к чувствованиям глубоким и возвышенным, что она умела понимать изящное. Часто попадались места, кои можно было им применять к себе. Разумеется, они не сообщали друг другу сих применений, но у Марии всегда в таком случае играл румянец в лице. Минский произносил любезные слова прерывающимся голосом. Чтение подавало повод всегда к разговорам, в коих Минский мог узнать познания и сметливость Марии.

Сии разговоры были тем приятнее для Минского, что всегда происходили на русском языке, который Мария, как истинная россиянка, любила и знала предпочтительно. Словом, она нравилась Минскому более и более. Узнав ее чувство, рассуждение на поэзии, он хотел испытать ее характер и предложил чтение историков. — Начали с Карамзина, и Минский с новым удовольствием увидел, что Мария горит не меньше его любовью к родине, святой Руси, и благословенному народу русскому. Притом она показала здесь всю энергию души своей, показала, что, сильно чувствуя, может и действовать с твердостью и достоинством. Таким образом, чем более Минский изучал будущую свою подругу, тем более уверялся, что она составит счастье его жизни, уверился и дал наконец волю чувству, которое тлилось уже давно от искры, упавшей на его сердце в первую минуту свидания, — и чувство теперь вспыхнуло. Препятствий посторонних никаких не было. Дело оставалось за объяснением, которое, по странной и очень выгодной привилегии женщин, должны

делать всегда мужчины. Минский был застенчив, и, несмотря на уверенность получить ответ благоприятный, никак не осмеливался начать объяснение. Двадцать раз начинал, и двадцать раз не оканчивал, не оканчивал тогда, когда уже слетало счастливое «да» с губок пылавшей Марии. Но случай и здесь помог ему. Однажды в сумерки сидели они с глазу на глаз. Разговор шел о дружбе.

— Как вы думаете, — спросила Мария в заключение (я не мог узнать еще, с умыслом или без умыслом), — где должно искать совершеннейшей дружбы?

— Между супругами, — отвечал восторженный Минский, — между супругами, Мария! Почитаете ли вы меня достойным такой дружбы? — и упал к ногам ее.

— Встаньте, встаньте, — сказала, как водится, дрожащим голосом дрожащая Мария и подняла счастливого Минского, и пламенный поцелуй напечатлелся на аленьких губках, коими так мило произнесено было это очаровательное «да». —

Тотчас отправились они к доброй старушке, которая в ближней комнате читала в зеленых очках проповеди Илии Минятия [19] и не предчувствовала, что делается за стеною.

— Маменька, — сказала Мария, — вы желаете устроить мое счастье. Вот мое счастье, — и указала на Минского.

— Сударыня, — сказал Минский, — позвольте и пр. и пр.

Пусть добавляют, что хотят, читатели. Я скажу только, что дело было слажено. Старушка наградила свою воспитанницу всем своим именем, и на третий день товарищи праздновали свадьбу у счастливого Минского. Д. предложил за ужином первый тост в честь русой косы.

Супруги живут счастливо. Минский сам рассказывал мне в лицах свою историю и позволил описать ее в том виде, как я имел удовольствие представить моим читателям.

Мне остается теперь вывести нравоучение (они в такой моде) из нескладной были. Вот оно:

Молодые люди! Опасен огонь, опасна вода, но русая коса всего опаснее.

Молодые люди, молодые люди!
Остерегайтесь русой косы.

А вы, прелестницы, вы должны... но коварная улыбка является на лице вашем; вы уже, кажется, грозите мне, мстительные, за ненужный совет мой... Страшусь вашего гнева и кладу печать молчания на дерзкие уста свои.

1825 [20]

Примечания

Нестор — труд немецкого историка А. Л. Шлёцера (1735–1809), посвященный русским летописям (вышел в русском переводе в 1809–1819 гг., был для Погодина предметом тщательного изучения).

[^^^]

...с древним монахом заслушался какой-нибудь райской птички. — Речь идет о широко распространенном сюжете, отразившемся, в частности, в «Райской птичке» Н. М. Карамзина (1791) (здесь и далее приводятся даты первых публикаций): монах, заслушавшись райской птички, не заметил, как протекли столетия.

[^^^]

...вышел новый том «Истории» Карамзина, Жуковский перевел еще одну Байронову поэму. — Судя по упоминанию литературных новинок (в частности, поэмы И. И. Козлова «Чернец», 1825), действие повести относится к 1825 г. В это время Карамзин работал над 12-м томом «Истории государства Российского» (вышел посмертно в 1829 г.) Ср. ниже упоминание об одиннадцати томах Карамзина, к тому времени уже вышедших. Герой Погодина старается заинтересовать приятеля упоминанием о не вышедших еще произведениях.

[^^^]

Брение — прах.

[^^^]

5

Гердер Иоганн Готфрид (1744–1803) — немецкий историк, философ, филолог, предшественник романтической философии истории.

[^^^]

6

Франклин Бенджамин (1706–1790) —
известный американский просветитель,
ученый, государственный деятель.

[^^^]

гуманитарных наук (лат.).

[^^^]

Мария Стюарт — героиня одноименной драмы Шиллера (1801).

[^^^]

Юлия — героиня романа Ж.-Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» (1761).

[^^^]

Магдалина — возможно, имеется в виду картина Корреджо «Христос, являющийся Марии Магдалине в виде садовника» (1510-е гг.)

[^^^]

Каменная Галатея и далее — по греческому мифу, скульптор Пигмалион влюбился в изваянную им статую Галатеи и оживил ее своей любовью.

[^^^]

Квартант — книга в четвертую долю листа.

[^^^]

...исследования Калайдовича, Строева — К. Ф. Калайдович (1792–1832) и П. М. Строев (1796–1876) — русские историки-археографы, в 1810-1820-е гг. они нашли и опубликовали много ценных памятников русской старины.

[^^^]

Армида — героиня поэмы Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим» (1580), волшебница-обольстительница.

[^^^]

«Арифметика» Магницкого и Псалтырь Симеона Полоцкого — учебник арифметики Л. Ф. Магницкого (1703) и стихотворный перевод Псалтыри («Псалтырь рифмотворная») Симеона Полоцкого (1680) — книги, по которым начинал учиться М. В. Ломоносов.

[^^^]

Известное выражение Ломоносова — оно приводится в Академической биографии Ломоносова 1784 г. (в кн.: Полное собрание сочинений Михаила Васильевича Ломоносова... ч. I, Спб., 1784, с. IV).

[^^^]

Известное выражение Ломоносова [15].

[^^^]

...ножки, которые приводят нашего Пушкина в такое смущение — намек на XXX–XXXIV строфы 1-й главы «Евгения Онегина» (вышла в свет в 1825 г.).

[^^^]

Илия Минятий (1669–1714) — греческий епископ, богослов. С XVIII в. его сочинения переводились на русский язык и неоднократно издавались.

[^^^]

Впервые напечатано в альманахе «Северные цветы» на 1827 г., с. 49–74, с подзаголовком «Происшествие из жизни М.» под псевдонимом «3-ий» (Знаменский). Написано в Знаменском, в июне 1825 г. под впечатлением эпизода из жизни Погодина.

[^^^]